

Рецензия на книгу:

Якимова Л. П. Повести Леонида Леонова 20-х годов о революции и гражданской войне как жанрово-тематический и семантико-поэтический цикл.

Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2007

Литература 20-х гг., особенно русская советская, имеет в литературоведении репутацию наиболее сложного для исследования периода. Своеобразие этой эпохи предопределялось двумя факторами: особым, трудно дифференцируемым состоянием литературного межвременья, «промежутка» (Ю. Тынянов), не так давно получившего терминологическое обозначение «постсимволизм», и сугубо идеологическим фактором социально-политической революции. Если для первого ведущим было многообразие, плюрализм литературной философии, эстетики, стилистики, в той или иной степени наследовавшие символизму (постсимволизм!) и его антропоцентрическим устремлениям, то для второго характерно резкое суживание поля деятельности самодостаточного человека рамками общеобязательной идеологии. И если для писателей, безоговорочно принявших революцию и пафос революционного переустройства мира и человека, больших трудностей в изображении эпохи не возникало, то у тех, кто сохранял верность «традиционной» литературе, «традиционному» человеку, художественное восприятие действительности значительно усложнилось.

Один из таких писателей-«попутчиков», претерпевших этот процесс усложнения собственного творчества, был Леонид Леонов. Л. П. Якимова, перед которой стояла столь же сложная задача интерпретации ранних произведений писателя, адекватной его художественному и философскому мировоззрению, в своей книге избирает способ «нового прочтения» ранних повестей Л. Леонова в свете последнего его романа. Эта методика рекурсивного чтения предполагает расшифровку, раскодирование повестей писателя 20-х гг. с высоты «романа-наваждения» «Пирамида» – феноменального даже для XX в. В своей монографии «Мотивный анализ структуры...» (2003) Л. П. Якимова убедительно показала, на-

сколько высока степень семиотической насыщенности структуры, содержания, философии романа, проявляющейся в мотивной организации текста. Тот же, по сути, методологический аппарат исследовательница использует и при анализе произведений, написанных на 70 лет ранее, но уже в соответствии с принципами рецептивной эстетики. Тем не менее, как показывает автор книги, уровень рефлексии и художественное качество этих произведений Л. Леонова оказались в высокой степени корреляции, семиотически и мотивно соотносимыми друг с другом, несмотря на ощутимую разницу: с одной стороны, огромный роман, с другой – небольшие произведения пограничного жанра «рассказ / повесть». Исследователь характеризует это необычное свойство прозы Л. Леонова как неподверженность его творчества эволюции: «Можно говорить об изменении эмоционально-психологической тональности, общей картины жизни, но не о перемене творческого вектора, как это произошло, скажем, у А. Платонова» (с. 4), – считает автор книги.

Этот тезис играет в книге едва ли не главную роль, поскольку позволяет Л. П. Якимовой рассмотреть ряд произведений Л. Леонова как единый текст. Иначе говоря, цикл, проникнутый единой идеологией неприятия насильственного изменения мира и человека, покоящихся на незыблемых, заповеданных свыше, устоях. Именно этот образ революционного «пролома», рассматриваемый в совокупности сопутствующих ему мотивов и аллюзий, особенно значим для той группы произведений Л. Леонова, которые Л. Якимова объединяет в цикл и который открывает одноименное произведение – «Петушихинский пролом» (1922). И именно этот, поэтико-семантический, принцип циклизации, включая единство времени, места и действия, и является главным, поскольку позволяет по-иному

интерпретировать такое центральное для прозы 20-х гг. понятие, как сказ.

Традиционно сказ трактовался как «установка на чужую речь, а уж отсюда, как следствие – на устную речь» (М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского), деформирующий статус автора вплоть до его вытеснения героем и упразднения. Л. П. Якимова интерпретирует этот прием шире, как «способ приблизиться к герою» (с. 20) в момент катастрофических событий прежде всего общественной жизни, показать, что революция – «феномен антропологический, онтологический, экзистенциальный» (там же). Тем самым исследователь, по сути, рассматривает сказ как один из способов создания Л. Леоновым и выявления читателем подтекста и многоуровневой композиции его произведений. При этом подтекст может принадлежать как автору, составляя «автохтонное начало его творческого континуума» (с. 22), так и читателю как инструмент рецепции текста в целом.

Однако, согласно Л. П. Якимовой, конфликта между толкованием текста и подтекста нет, так как основная мысль «Петушихинского пролома» – «соприродность жизни петушихинцев вековечному бытию», несовместимость «неостановимого процесса поиска правды народом и попыток утвердить ее методом лобовой атаки, чекистско-комиссарским наскоком» (с. 44) – выявляется опосредованно. Главную роль здесь играет «мотив постороннего вторжения в незамутненную стихию петушихинской жизни» (с. 38), предопределяющий и «ощущение глубокой враждебности» (с. 39) народа к большевикам в сцене вскрытия раки с мощами святого, и вытекающий отсюда вывод автора книги о «неукорененности революционного мира, его ложности, придуманности, фантастичности» (с. 43). Но, с другой стороны, характер сказа, генетически связанный у Л. Леонова с мифом (умение видеть мир в «тесно упаковке мифа или апокрифа»), исключает акцентированность авторской точки зрения. Автор, т. е. Л. Леонов, несмотря на приверженность идеологии «почвы» и русского «космизма» (революция – «явление космическое»), не осуждает, по крайней мере, прямо, большевиков. Напротив, «Петушихинский пролом» можно прочесть и как неприятие провинциальной косности, что и делали современные писателю критики, упрекавшие его в «неясности».

При анализе следующего произведения предполагаемого цикла «Конец мелкого че-

ловека» (1922) аргументация в пользу неприятия Л. Леоновым и его героями «проломной» «красной» идеологии ширится и углубляется. В то же время автор книги оперирует понятиями и терминами, лежащими в плоскости амбивалентности мировоззрения и художественной практики Л. Леонова. Центральное из них – оксюморонность в изображении и осмыслении действительности является наиболее адекватным в интерпретации повести «Конец мелкого человека». Так, Л. П. Якимова доказывает оксюморонность самого статуса «мелкого человека» по отношению к профессору Лихареву, которого сделали «мелким» не его личные качества, а несоответствие «великим целям» построения нового мира (с. 52) и который как личность может требовать «считаться с ее правами».

Той же «стратегией чтения», предполагающей «фигуру усомнения» у автора и его героя, продиктовано и толкование образа понятия «пещера». Очевидный, казалось бы, атрибут «мелкости» одичавшего человека, отставшего от истории, трактуется как «изначальное жилище человека», исконное «лоно» его жизни (с. 54–55). С этой общечеловеческой точки зрения актуализируется тот комплекс экзистенциально-бытийственных «оттенков» и признаков, который характеризует жизнь Лихарева в его противостоянии утопической идее идеального общества и его уход («конец») из жизни. Входит в эту антропоцентрическую парадигму и понятие антиутопии в соотношении со «строительным текстом» («Хрустальный Дворец» Чернышевского и Достоевского и «деликатное здание» Л. Леонова), из которого Лихарев, не пожелавший стать «кирпичиком», выпадает. Отмечена Л. П. Якимовой и возросшая роль интертекстуальности, а также та особенность прозы Л. Леонова, которую исследователь называет «диалог с классиками», в особенности с Достоевским, что выводило писателя на скрытую конфронтацию с властью, точнее «усомнение» в ее правоте, возможность альтернативы ей.

Показывая, насколько сложнее, чем полагали леоноведы (особенно в советское время), устроен художественный мир раннего Л. Леонова, Л. П. Якимова в то же время не абсолютизирует свои выводы. Имеется в виду та раздвоенность Лихарева, подчеркнутая исследователем, которая, однако, имеет свою «систему зеркал». Лихарев отражается в фигуре Ферта, в свою очередь

раздваивающегося в «черта» Ивана Карамазова и «мелкого беса» Ф. Сологуба. Но, с другой стороны, профессор имеет и иное свое «отражение» в лице сестры Елены, воплощающей так и не достигнутую им нравственную чистоту, оттеняющую его эгоизм. Столь же концептуально истолкован и «зверинец» (группа персонажей, гостей-пациентов доктора Ёлкова) – как «прием скрытой цитации чужих мнений» (с. 79), что оставляет за рамками избранной «стратегии чтения» другие коннотации этого собирательного образа.

Наиболее удачно, на наш взгляд, концепция Л. П. Якимовой, с использованием всего научного инструментария семиотического анализа, включая методику рецептивного чтения, продемонстрирована при анализе повести «Записи Ковякина» (1924). Сложную проблему оксюморонности прозы Л. Леонова в его отношении к «мелкому человеку» и провинциальной среде, которая его порождает, но и облагораживает, автор книги объединяет с параметрами той лукавой сказовой манеры повествования писателя, которая и остраивает это повествование, но и указывает на культурологически значимый подтекст, «текст в тексте». Указывая на подобную сложность уже ранних произведений Л. Леонова, автор книги откровенно признается, что «такого рода произведения изначально должны были стать объектом мотивно-семиотического анализа, однако возможность для этого возникла много позднее» (с. 63). Другими словами, само произведение, в данном случае «Записи Ковякина», следует рассматривать с точки зрения прежде всего его мотивной структуры.

Так, Л. Якимова выделяет мотив скуки, который манифестирует в первую очередь не «уездную звериную глушь», а «томление по иной жизни», восходя к «экзистенциальным началам человеческой натуры» (с. 102–103). Поэтому и типологически ближе «Записям» не «Уездное» Е. Замятина, а «Евгений Онегин» А. Пушкина, тогда как предметом скрытой полемики и интертекстуального диалога является «окуровский цикл» М. Горького. Его герой Кожемякин отличается от Ковякина тем, что ищет «избавления от провинциальной скуки не внутри себя, а в изменении внешних условий своего существования» (с. 105). В то время как герой Л. Леонова воспринимает «обитание» в Гоголеве «как благодатную почву для проявления духовной активности», служению согражданам. Укрепляет писатель

свои мировоззренческие позиции, где главную роль, по мнению Л. Якимовой, играют антропологизм и экзистенциализм, в споре с М. Горьким, вновь прибегая к помощи Ф. Достоевского. Именно благодаря его влиянию Л. Леонов, согласно автору книги, наделяет Ковякина «идиотическим комплексом» острого поведения и отсутствием «приспособляемости к чуждому миру» (с. 116).

Такое прочтение повести невозможно без введения понятия «провинциальный дискурс» и «провинциальный текст», исключая «социологические коннотации», вносимые в литературу такими разными писателями, как М. Горький и Е. Замятин. «Насильственное счастье», «декретированное настроение радости», считает Л. Якимова, «не в силах отменить скуку»: загнанная вглубь, она вела советского человека к «двоемыслию» и «аннигиляции». Вследствие этого, скука из симптома мещанско-обывательского существования парадоксальным образом оказывается одним из источников развития «человечества», невозможного без противоречий, без разности потенциалов. Благодаря особым свойствам леоновского подтекста и сказа с его «сложным и странным механизмом связности – повторы лейтмотивного характера, аллюзии-реминесценции, отсылки, анаграммирование, числовая игра», диалог с М. Горьким и «всем массивом провинциального текста русской литературы» (с. 124) скука получает другую энергетику: она «обернулась смутной» (там же). При этом Л. П. Якимова решительно отвергает прежние воззрения на сказовую манеру Л. Леонова как особый прием дистанцирования («разведения») героя от автора, который не мог не верить в революционные ценности. Тем самым объясняется и то, почему на периферию исследования отодвинута такая важная составляющая творчества писателя, как сатирический смысл его «провинциальных» произведений: с включением в орбиту рецептивного анализа многоуровневого подтекста этот, казалось бы, очевидный смысл меняет знак, получает иное толкование. Именно поэтика «второй композиции», рассчитанная на нетривиального читателя, наделяет той специфической связностью – «когезией», которая исключает сатиру как главную цель этих повестей. Эта когезия («повторы звуков, грамматических форм, индексальных знаков, имен собственных и т. п.») и является решающей для понима-

ния произведения, содержание (цельность) которого нельзя усвоить «поверх» этой «связности».

В повести «Провинциальная история» (1927), написанной через несколько лет после «Записей Ковякина», уже невозможно отрицать другую очевидность – явную близость Л. Леонова Достоевскому и его решающую роль в создании указанной подтекстовой связности-когезии. Однако и без помощи рецептивной эстетики можно утверждать, что Достоевский служил писателю как «средство» не только осознания своего писательского дара, но и углубления в «социально мертвого человека» (И. Нусинов) с целью оживить его, не закрывая глаза и на признаки омертвления. Не случайно Л. П. Якимов упоминает здесь «синтезирующий склад эстетической мысли» (с. 136–137) писателя, заставшего Серебряный век. В связи с этим интересно отметить такой след Серебряного века у Л. Леонова, как, например, название города «Гоголев», едва ли не заимствованное из «Серебряного голубя» Андрея Белого, генетически связанного с Гоголем, учителем и предтечей раннего Достоевского – писателей, имевших для идеологии и художественной практики Серебряного века решающее значение. Кроме того, фамилии с уменьшительным суффиксом «-ик-», столь частые и у Л. Леонова, и у писателей-символистов, в эстетике модернизма играли роль негативного индекса, указывавшего на человека, неспособного превзойти свою человеческую суть. Рецептивное прочтение Л. Якимовой фамилии героя «Провинциальной истории» Ахамазиков указывает на другое ее содержание – корневое «-хам-», отсылающее к библейскому персонажу, снабженному, правда, отрицательным префиксом «а-». Подлинным «Хамом» в повести является один из сынов Пустыннова Яков, инженер, чьи образ и профессия трактуются исследователем как «инженер человеческих душ» в революционной эстетике «переделываемого человека».

В такой системе библейски-мифологической символики Пустыннов – глава семейства получает статус Ноя, а второй сын Андрей – Сима-Иафета, согласно Библии, прикрывший наготу отца. На этот «библейский миф» накладывается другой – о «блудном сыне», что, как пишет Л. П. Якимова, «осложняет» рецепцию повести, в которой существует «глубинная сопряженность экзистенциального и мифологического начал»

(с. 156) при «нивелировании» и «растворении» экзистенциального, свойственного Ахамазикову. Осложняет не прямое – несатирическое восприятие «Провинциальной истории» и другой семиотический слой – включенность героев в рамки «провинциального текста» с его «гипертрофированной знаковостью» (В. Топоров). Негативное и позитивное здесь находятся в отношениях диалектики и взаимоперехода, где «скука» уживается со «смутой», экзистенция с «достоевской» формулой «некуда пойти», с советским безвременьем и духовным вакуумом. Поэтому диалог с Достоевским не отменяет «диалогического притяжения» Л. Леонова к таким разным именам, как «Шекспир, Аввакум, Пушкин... Чехов, Лесков, Замятин, Блок, Ремизов» (с. 164).

В этом плане характерно, что Л. П. Якимов избирает предметом анализа не очевидных с точки зрения языковой и стилистической близости Лескова и Ремизова, а Чехова, автора «экзистенциальных» пьес. Фраза и слово в поэтике Л. Леонова, по мнению автора книги, семиотически глубже: «Пределы возможностей семантико-эстетического насыщения всего одной лишь леоновской фразы обращают на себя внимание, заставляя задуматься о духовных и творческих резервах, тающихся в его склонности к логарифмированию и интегрированию, а следовательно, и необходимости проникновения в новые горизонты его текста, начиная с ранних повестей и рассказов» (с. 120). Укрепляет позиции «серьезного» слова у Л. Леонова и цитирование М. Бахтина, писавшего о том, что «диалогический подход возможен... применительно даже к отдельному слову» как «знаку чужой смысловой позиции», и поэтому «диалогические отношения могут проникать... даже внутрь отдельного слова». С таких позиций рассматривается в повести Л. Леонова «речевая формула» «все равно» как диалог писателя с А. Чеховым.

Обнаружение исследователем такой смысловой нагрузки фразы и слова у Л. Леонова неизбежно возвращает к осмыслению поэтики сказа у писателя. Окончательной формулировки этого феномена литературы 20-х гг. в книге не дается, так же как на уровне гипотезы приводится толкование этого термина как «камуфляжа» (Ф. Листван) по отношению к экзистенциальному содержанию произведения. Правоммерно было бы поэтому обозначить еще и то, которое традиционно соотносится

с авторской игрой повествовательными масками, что характерно, например, для А. Ремизова. Тем более что Л. Леонов идет, как отмечает Л. П. Якимов, не по пути А. Платонова с его «поглощенностью социальной стихией с ее ветрами и пустотой» (с. 189), а изображения «человеческого, только человеческого содержания» (там же).

Именно это «человеческое содержание» Л. П. Якимов отмечает в последней части предполагаемого цикла «Белая ночь» (1928). Рассказывая о гражданской войне, повесть обходит стороной «картины кровавых боев и сражений», пыток, казней, подвигов и т. д. «Она, – пишет автор книги, – о другом. О месте человеческой единицы в разбушевавшейся стихии, о мучительной неизбежности личного выбора в экстремальной ситуации социального раскола» (с. 206). Достойный преемник героев предыдущих повестей Л. Леонова – Лихарева, Ковякина, Ахмазиков, мещанин Кручинкин столь же «идиотичен» и экзистенциален, по мнению Л. Якимовой, как князь Мышкин Достоевского. Его мечта о собственном крыжовнике воскрешает проблематику одноименного рассказа Чехова, но с другой ценностной ориентацией. С крыжовником у Л. Леонова, согласно автору книги, «связывается представление об устойчивом, стабильном бытии» (с. 212), «любовь к ягоде... не лишает (его) природного альтруизма и вообще всех черт «живого человека» (там же). Белогвардеец Пальчиков, полагает Л. П. Якимов, выведен «из сферы социального детерминизма» в пользу «ментальной “широкости” натуры», характеризующей, по Достоевскому, национальный тип русского человека.

Эта же «широкость», но уже художественного мира Л. Леонова позволяет исследователю, использующему рецептивный метод, дополнить спектр писателей, участвовавших в диалоге с ним, Л. Толстым. Л. П. Якимов интерпретирует отношения «сцепленных трансцендентной силой» (с. 207) Кручинкина и Пальчикова как «семиотически сопоставимые» с отношениями буфетного мужика Герасима и его барина Ивана Ильича – героев рассказа Л. Толстого с его темой неподлинности прожитой жизни. В контексте этой «неподлинности» автор книги выявляет мотив игры как «снижение образа Революции, профанирование «жизни за идею» (с. 226). Не подлежит сомнению для Л. П. Якимовой и «перекличка»

«Белой ночи» с повестью Б. Лавренева «Сорок первый», только с «вывернутыми» сюжетными коллизиями: в Пальчикове, отпускающем на волю красного матроса, человеческое побеждает социальное, тогда как в «Сорок первом» «вывернуты» гендерные отношения – Марютка Басова оказывается «маскулиннее» офицера Говорухи-Отрока. Несмотря на усиление в повести Л. Леонова публицистической интонации, провинция изображается в том же ключе. Писателем двигает здесь не обличительность, а «бытийственная стабильность и социальная невозмутимость» (с. 247).

Таким образом, «Белая ночь», где «текстоцентризм» также является неотъемлемой стороной «своеобразия ее поэтической структуры» (с. 252), достойно завершает группу повестей Л. Леонова 20-х гг. Тех произведений, которые, в соответствии с особенностями своего содержания, особенно внутреннего, подтекстового, действительно можно объединить в цикл. Л. П. Якимов оставляет вне поля зрения другие произведения той эпохи – так называемые «восточные» рассказы, цикл «Рассказы о мужиках», романы «Барсуки» и «Вор». Такое отмежевание, тем не менее, имеет свой смысл для гипотезы автора книги о такой мере типологической, а главное, сущностной близости ряда повестей Л. Леонова, которые позволяют объединить их в цикл. Так как позволяют акцентировать внимание на тех повестях писателя, структура которых занимает промежуточное положение между рассказом и повестью, имеющей «задатки романного мышления» (с. 138). При всех неразгаданных «загадках» этих повестей, где подтекст дает широкий простор не только для рецептивных и рекурсивных прочтений, но и для неэкзистенциальных интерпретаций, исследование Л. П. Якимовой является глубоким, интересным и в значительной степени новаторским. Продолжающим не только ряд исследований по экзистенциализму в русской литературе (С. Семенова, В. Заманская и др.), но и открывающим новую страницу в изучении творчества Леонида Леонова.

В. Н. Яранцев
канд. филол. наук,
зав. отделом критики
журнала «Сибирские огни»
(Новосибирск)